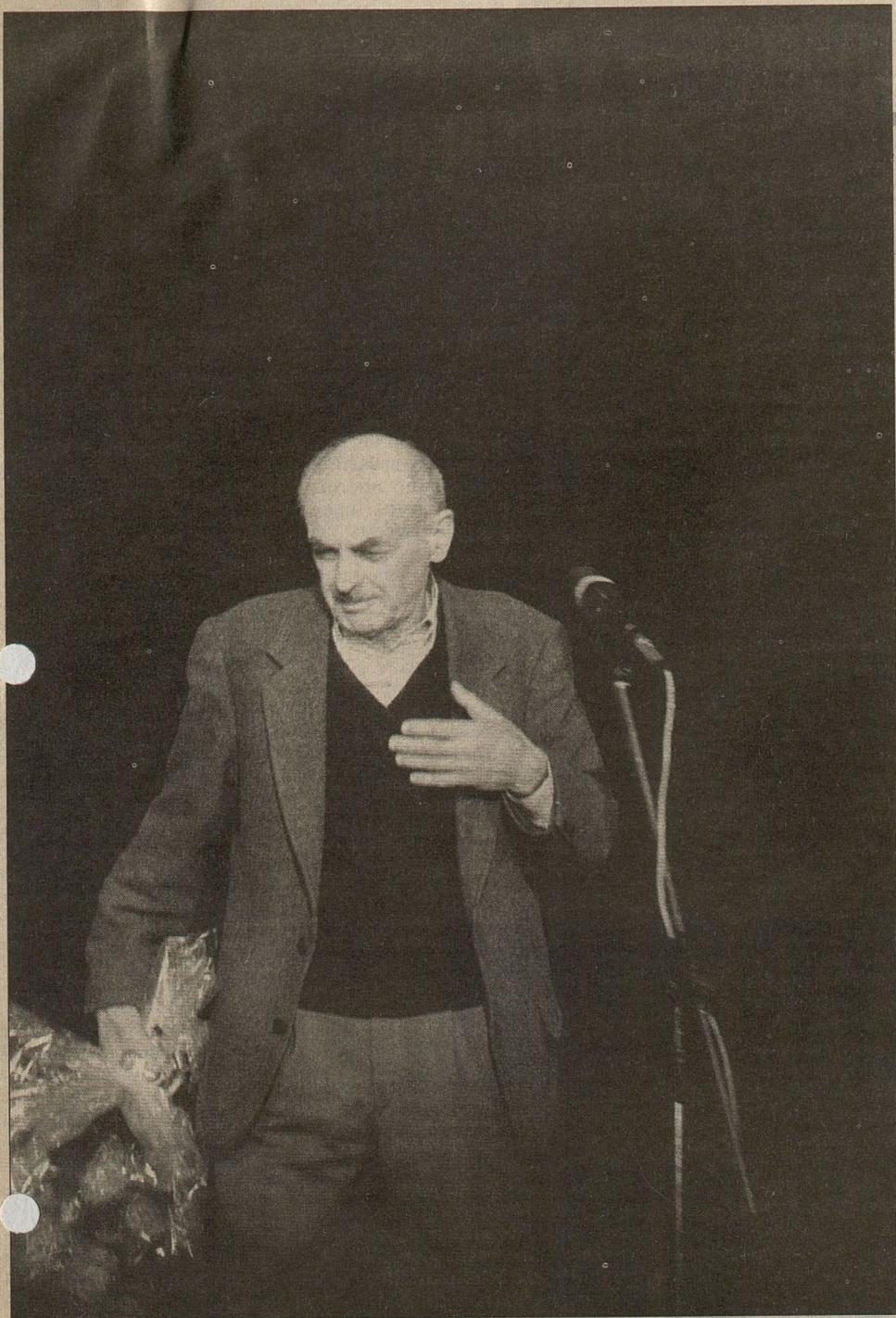


Но небесных его композиций,
слава Богу, свидетели есть...



Год, страшно выговаривать, аж 1958-й. Мой сослуживец и друг, никому еще почти не известный Булат Окуджава, просит сопроводить его в некое литобъединение, где он обещал выступить... Нет, не с песнями, прославившими его; их он уже сочинял, но отнюдь не решался выносить на публику. За стихи, которые прочел самодельным стихотворцам, был ими надменно отхлестан, отнесясь к провалу вполне спокойно. По крайней мере — с виду, предложив как ни в чем не бывало взять такси и поехать кататься по только что открывшемуся Метромосту, чем дал мне, кипевшему от обиды за него, урок хладнокровия. И не только.

Среди прочего была читана поэма о поломавшемся семейном союзе, об ушедшей любви, что заставило меня ежиться. Дело в том, что с нами была Галя, тогда еще жена Булата, — еще потому, что их отношения, как я знал, уже безнадежно разладились. (Гале и вообще не так много останется жить, она рано умрет страшной, а может, наоборот, завидно легкой смертью: закупорит вену тромб или разорвется сердце.) И вот: «Правда, Стасик, очень хорошая поэма?» — спрашивает она, а я с ужасом думаю: как она могла это слушать? Как Булат мог это при ней читать? Да и написать — как мог?..

В самом деле: первый и ни с чем по наглядности не сравнимый урок, сколь жестоко бывает — не может не быть? — искусство!

...В последнее время все неотвязней — не потому ли, что живем без физического присутствия Окуджавы, которое само по себе внушало

надежду? — думаю вот о чем. Та почти умиленность, с какой воспринимаем его поэзию, чему, конечно, способствует обаяние мелодического, музыкального дара, возможно, отчасти уводит

вой кружится./ Я клювом называть не осмеливаюсь его вдохновенный рот./ складками обрамленный скорбными, как у провидца./ И видя глаз прозорливый, и слушая речи его./ исполненные предчув-



Станислав РАССАДИН,
обозреватель «Новой»

«И все изранены, как ты»

Репортаж по памяти

нас от понимания, что тут за... Ну, не жестокая, так жесткая — и трезвая — подоснова.

«От бывшего гитариста» — не мне одному Окуджава так надписывал даримые книги, словно бы намекая: его надо не только слушать, но читать. Вчитываться. И действительно все реже брал в руки гитару, сочиняя то, что не запоешь. Например...

«Ворон над Переделкиным черную глотку рвет./ Он, как персонаж из песни, над голо-

ствия, отчаяния и желчи./ я птицей назвать не осмеливаюсь крылатое существо — / как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем».

Мог ли автор этого трагического стихотворения не помнить не одного лишь «персонажа из песни» («Что ты выешься?..»), но и ворона, среди поэтов особенно знаменитого? Того, в чьем карканье Эдгар По, настроенный беспросветно, задающий только те вопросы, на которые не надеется услышать обнадеживающий от-

вет, соответственно слышал однообразное «Nevermore». «Никогда!»

А может, здесь и отзвук стихов соседа по Арбату Николая Глазкова, у кого «черный ворон, черный дьявол», уничтожающий карканьем все надежды, по законам абсурда выведен на чистую воду? «Я спросил: «Какие в Чили/ существуют города?»/ Он ответил: «Никогда!»,/ и его разоблачили».

Не знаю. Во всяком случае, можно сказать, что Окуджава словно бы следует Эдгару По в сознании обреченности, а другу Коле — в иронии.

Вернее, в самоиронии — вплоть до самоуничижения.

«Я выгляжу праздным и временным в застывших его глазах./ когда он белое облако рассекает крылом небрежным./ Я царствую здесь, в малиннике, он царствует в небесах./ и в этом его преимущество передо мною, грешным./ Ворон над Переделкиным черную глотку рвет./ что-то он все пророчит мне, будто бы ненароком...».

«Что-то...». Да полно! Все то же самое — «Nevermore!».

«...И, судя по интонациям, он знает все наперед./ И в этом мое преимущество перед лесным пророком».

Преимущество — в чем? В невозможности знать свой смертный срок? Преимущество, лишь обнажающее ужас неотвратимости? Вот она, самоирония, свойство, которое Окуджава в себе знал и которое культивировал. Он, «холодный и прощательный», как сказал о нем недобро-приметливый Юрий Нагибин.

«Ворон» — стихи поздние, той поры, которая бывает у человека, у страны, возможно, и у человечества, вынужденных однажды столкнуться с жесточайшей безыллюзорностью. Но насколько ж безыллюзорно трезв был и Окуджава ранний, еще не известный или полужизненный, допустим, в стихах 1959 (!) года, которые он посвятил, извините, мне и которые долго не имели шанса попасть в подцензурную печать: «Мой мальчик, нанося обиды./ о чем заботятся враги?/ Чтоб ты не выполз недобрым./ на их нарвавшись кулаки./ Мой мальчик, но — верны и строги./ о чем заботятся друзья?/ Чтоб не нашел ты к ним дороги./ свой тревоги принося».

И т.д. — но чем разрешается этот пароксизм отчаяния? Озарением, что плохо — всем. Этому учит одиночество, не только, значит, мучительное, но и душевно просветляющее: «И вот тогда-то, одинокий./ как в зоне вечной мерзлоты./ поймешь, что все, как ты, двуноги/ и все изранены, как ты».

Смешно сказать, но, помнится, в те далекие годы я уговаривал его заменить «изранены» на «беспомощны». Он не согласился, правильно сделал. «Беспомощны» — констатация того, что изначально и постоянно; «изранены» — воплощение опыта. Не военного (о той «израненности» Окуджава мог сказать опять-таки с самоиронией: «Я раной одной откупился сполна/ от смерти на этой войне»), а того, что делает человека человеком, поэта — поэтом...